

A black and white portrait of Evgeny Primakov, an elderly man with glasses, resting his chin on his clasped hands in a contemplative pose. The background is dark and out of focus.

Евгений
ПРИМАКОВ

**Минное
Поле**
ПОЛИТИКИ

Евгений Максимович Примаков

Минное поле политики

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69483652
Минное поле политики: Молодая гвардия; Москва; 2019
ISBN 9785235047808

Аннотация

Евгения Максимовича Примакова совершенно справедливо называют политическим «тяжеловесом». Его деятельность на государственном поприще впечатляет и своей многогранностью, и масштабом. Талантливый ученый-востоковед и экономист, блестящий аналитик и мудрый прагматик, он выполнял очень сложные дипломатические миссии во время острейших конфликтов на Ближнем Востоке и был востребован на высокие государственные посты в кризисных ситуациях в трудный, драматичный период реформирования страны.

В этой книге Е. М. Примаков рассказывает о своей жизни, о событиях, свидетелем и участником которых он был, о встречах с лидерами самых разных стран мира, о противоречивых процессах в международной политике, о своем видении российской действительности.

Содержание

Об авторе	5
Предисловие	7
Глава I	8
Тбилиси тех лет	8
Москва: первые радости и первые невзгоды	17
Извилистые пути корреспондента «Правды»	32
Глава II	43
Трудное избавление от догм	43
Международные отношения: Что за кадром	59
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Евгений Примаков

Минное поле политики

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Примаков Е. М., 2019

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019

* * *

Об авторе

Евгений Максимович Примаков родился в 1929 году в Киеве, вскоре переехал в Тбилиси, где провел детство и юность. Окончил Московский институт востоковедения и аспирантуру Московского государственного университета.

Журналистика стала первым этапом трудовой деятельности Евгения Примакова. Он прошел путь от корреспондента Госкомитета по телевидению и радиовещанию до собкора газеты «Правда» в арабских странах.

В те же годы Евгений Максимович связал свою судьбу с наукой. Став доктором экономических наук, членом-корреспондентом, а затем – академиком АН СССР, он возглавлял Институт востоковедения и Институт мировой экономики и международных отношений. С 1988 года – член президиума Академии наук СССР.

В конце 1980-х Е. М. Примаков активно включился в политику: председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, затем – член Президентского совета и Совета безопасности СССР. В 1990-е годы руководил Службой внешней разведки, затем – Министерством иностранных дел. С сентября 1998-го по май 1999 года был председателем Правительства Российской Федерации.

В период с 2001 по 2011 год – президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Евгений Примаков – автор многочисленных научных работ по проблемам мировой экономики и международных отношений, почетный член нескольких зарубежных академий и научно-исследовательских центров.

Евгений Максимович Примаков скончался 26 июня 2015 года в Москве.

Предисловие

Книга не задумывалась как автобиография. Это не мемуары, так как я был далек от того, чтобы сделать ее автора неким героем повествования, – мне представляется, что мемуарная литература этим отличается от других жанров. Тем не менее – никуда не денешься – я был участником многих из описываемых событий и пропускал их через свое видение. Эта книга – и не историческое исследование, хотя в ней рассмотрены события и процессы, без оценки которых невозможно понять историю России конца второго тысячелетия.

В этой книге я хотел показать многослойность российской политической и общественной жизни. Уверен, что однозначные оценки происшедшего и происходящего в России неточны, а значит – неприемлемы.

Это, по сути, новая книга, хотя и является вторым переработанным изданием книги «Встречи на перекрестках», вышедшей сравнительно небольшим тиражом в Екатеринбурге. Я стремился к тому, чтобы эта книга, как и прежде изданные, не была конъюнктурной, просматривающей прошлое, пережитое через восприятие сегодняшнего дня.

Глава I

Ведомый судьбой

*Мало кто понимает, что мы не идем по жизни,
а нас ведут по ней.
Лион Фейхтвангер*

Тбилиси тех лет

Меня по жизни вела судьба, не только предопределяя тот или иной сдвиг, поворот, переход в другое качество, но отводя в сторону от различных капканов и западней. Вспоминая свое прошлое, особенно детство и юность, убеждаюсь в этом все больше. Как писал Сергей Есенин: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи».

Верю ли в божественное предначертание? Думаю, что существует Высшее начало у жизни. Высший интеллект, Высшая справедливость. Уверен, что тем, кто приносит добро, зачтется. Тому, кто поступает худо, жизнь отомстит.

Тбилиси, 1937 год. Вокруг повалились практически все, с кем моя мама – Примакова Анна Яковлевна, врач по специальности – дружила, встречалась, водила знакомство. Маминого брата, тоже врача-гинеколога, арестовали в Баку и, как стало известно позже, этапировали в Тбилиси, где рас-

стреляли. Он был далек от политики. Мне стало известно через много лет, что главным «вещественным доказательством» его принадлежности к «антисоветской группе» был найденный при обыске юнкерский кортик – Александр Яковлевич несколько месяцев перед революцией был в юнкерах.

У мамы было много братьев и сестер, но все они, за исключением Александра Яковлевича и моей любимой тети Фани, умерли – один брат погиб в Русско-японскую войну, другой, вернувшись с фронта, умер от чахотки. Моя тетка стала женой известного доктора Д. А. Киршенבלата. Профессор, получивший степень в Берлинском университете, он был блестящим терапевтом – любимцем всего Тбилиси. У него было трое сыновей – двое старших от рано умершей жены. Один из них – Миша, тоже врач и пламенный большевик – был директором Тбилисского института скорой помощи, одной из крупных больниц в городе. Однажды из Еревана привезли тело первого секретаря ЦК компартии Армении Ханджяна. От Михаила Давидовича потребовали дать заключение о самоубийстве. Он гневно отверг это предложение и был арестован, а затем расстрелян.

В гулкие тбилисские ночи шуршали шины автомобиля, останавливающегося у того или иного дома. Ленинградская улица, на которой мы жили, небольшая – длиной метров в 150, всего 13 домов. Поэтому все трагедии происходили на глазах у всех. В доме 5 жил Лева Кулиджанов, ставший впоследствии большим кинорежиссером. Его кинофильмы

«Дом, в котором я живу», «Когда деревья были большими», экранизация Достоевского вошли в классический фонд советского кино. А тогда, в 1937 году, мы – пацаны (он был старше нас на пять лет) толпились под его окном в бельэтаже. Ходили слухи (конечно, лишь слухи), что его мама при аресте отстреливалась. Из какого пистолета – нас интересовал главным образом этот вопрос, – из «браунинга»? «Что-то вроде этого», – отвечал уже не в первый раз Лева.

Я у матери единственный. Она родила меня уже в возрасте и жила мною. Трудно представить, как переломилась бы моя судьба, если бы ее арестовали.

Как я реагировал на происходившее? Некоторые представители моего поколения уверяют, что даже в «щенячьем возрасте» всё понимали. Я не принадлежал к числу «ясновидящих». Когда услышал, что арестовали заместителя председателя Совнаркома Грузии Илюшина, с женой которого мама сначала встречалась как с пациенткой, а потом сдружилась, взял ножницы и изрезал на мелкие куски кожаную кобуру и портупею, которую он мне подарил в день рождения.

Но все-таки маму косвенно задел трагический тридцать седьмой. Она работала в Железнодорожной больнице и была, как говорили, превосходным акушером-гинекологом. Но ее оттуда попросили, и она не без труда нашла работу в женской консультации Тбилисского прядильно-трикотажного комбината. Оставалась там единственным врачом непрерывно тридцать пять лет. Комбинат находился далеко

от центра города, а во время войны мама еще взяла и вторую работу – в другом конце Тбилиси. Приходила домой вечером, изнуренная до предела. Она очень много работала ради того, чтобы я был накормлен и одет в то нелегкое для всех военное время.

Мама никогда не состояла ни в каких партиях, не производила зажигательных речей, не любила даже поддерживать разговор на политические темы. Но это вовсе не означало ее политической инфантильности. Помню, как, уже будучи студентом, в самом начале 1950-х годов приехал на каникулы в Тбилиси и разговорился с матерью на «сталинскую тему». Сознаюсь, пришел в ужас от ее слов, что Сталин – «примитивный душегуб». «Да как ты можешь, ты хоть что-нибудь читала из трудов этого “примитивного человека”?» – взорвался я. Меня сразил спокойный ответ матери: «И читать не буду, а ты пойд и донеси – он это любит». Я никогда больше не возвращался к этой теме.

Однако подобные разговоры с матерью были исключением. У нее, я уверен, был богатый внутренний мир, но именно внутренний. Она не делилась им ни с кем, в том числе со мной. Может быть, оберегала меня. Думаю даже, что не только оберегала, так как при всех своих сомнениях и неприязни ко многому происходившему страну любила однозначно и вне всякого сомнения. Она считалась с моим внутренним настроением. Во всяком случае, была довольна, когда я стал комсомольцем, а потом и членом партии.

Ее любили работницы, уважали и побаивались руководители комбината – она не стеснялась в выражениях, если беременных женщин не отпускали в положенный отпуск или ставили в третью смену. Я узнал обо всем этом из прощальных слов на похоронах матери 19 декабря 1972 года – в последний путь ее провожал почти весь Тбилисский прядильно-трикотажный комбинат.

Жили мы в общей квартире без элементарных удобств, в четырнадцатиметровой комнате. Целыми днями я с ребятами пропадал на улице. Окончив семь классов, объявил не на шутку встревоженной матери: «Еду с друзьями поступать в Бакинское военно-морское подготовительное училище». На робкое мамино: «Может быть, передумаешь, ведь в Тбилиси есть Нахимовское училище», – последовал ответ: «Я так решил. А Нахимовское училище подчиняется Наркомпросу, а не Министерству обороны. У них даже вместо ленточек на бескозырках куций бант».

Сейчас, когда представляю себе во всей красе безапелляционность тогдашних своих поступков и при этом без стремления понять маму, становится грустно.

Учился я хорошо, больше всего любил математику, историю, литературу. Преподаватели в русских общеобразовательных школах в Тбилиси были очень сильные. Им, особенно моей доброй первой учительнице Ольге Вакуловне Прихня, математику – блестящему педагогу Пармену Засимовичу Кукаве, да и другим премного обязан. Выпускники тбилис-

ских школ абсолютно на равных и в то время без всякого блатта выдерживали конкурсные экзамены в престижные московские институты. Среди них был и я, поступив в 1948 году в Московский институт востоковедения. Но об этом позже.

В военные годы, однако, ученики в школе далеко не все время отдавали учебе. В вечернюю третью смену не раз гасла лампочка (как правило, в классе она была одна). Секрет был прост – вкрученная нами в патрон с мокрой промокашкой лампочка переставала светить, как только промокашка высыхала. Урок прекращался, а нам было куда пойти. В кинотеатрах крутили кинофильмы – мы знали их наизусть, особенно киносборники, составленные в том числе из фронтовых лент. А песню, которую прекрасно исполняла Окуневская, со словами:

Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня.
Помнишь, как ярко вспыхивал яростный луч огня...
Пламя гнева горит в груди.
Пламя гнева, в поход нас веди.
В бой, славяне, – заря впереди... –

пели на тбилисских улицах и русские, и грузины, и армяне, и евреи. Таким был Тбилиси.

Может быть, мама внутренне согласилась на мое поступление в Бакинское училище еще и потому, что не успела остыть от пережитого. Я и трое моих друзей решили отомстить завучу Раисе Павловне, которая, по нашему мне-

нию, совершила величайшую несправедливость, поставив многим двойки, «чтобы неповадно было шуметь на уроке». «Возмущенные», мы выбили стекла в окне ее дома. На следующий день были разоблачены – оказывается, нас видели прохаживающимися вечером около злополучного окна. Мы, как полагается, сначала осмотрели местность, а потом приступили к исполнению. Вызвали родителей. Мама редко бывала в школе, но по вызову явилась сразу – Раиса Павловна училась с ней в одной гимназии. У меня горело лицо от впервые полученной маминой пощечины. Мы с ребятами решили бежать на фронт, но нас поймали на вокзале. Всех четверых исключили из школы, и по разрешению городского отдела народного образования мы сдавали экзамены уже в другой школе.

После занятий мы, как правило, дефилировали по Плехановской – такое название проспекту дал Ной Жордания, когда в Грузии было меньшевистское правительство. Мало улиц носило имя Плеханова в Советском Союзе, и очень жаль, что в независимой Грузии ее переименовали – теперь она называется именем царя Давида Агмашенебели, что по-русски означает Давид-строитель.

Время было беспокойное. В городе распоясались уголовники, многие из которых «эвакуировались» в Тбилиси из Одессы и Ростова, но полно было и местных воров. Криминал захлестнул улицы, но никто из нашей компании не соскользнул на преступную дорожку.

В Баку поехали целой компанией – я, братья-боксеры Сергей и Жора Квелидзе, Толя Бажора. Все, кроме меня, вернулись домой через несколько месяцев. Я провел в училище два, скажем прямо, нелегких года, прошел практику на учебном корабле «Правда» и, когда уже казалось, что все трудности адаптации позади, был отчислен по состоянию здоровья – обнаружили начальную стадию туберкулеза легких. Тут же примчалась в Баку моя дорогая мама, а я меньше всего думал о здоровье. В вагоне поезда Баку – Тбилиси стоял у окна, мимо проносились столбы, деревья, здания какие-то, а я ничего не видел. Глаза застилала слезы. В течение двух лет связывал свое будущее с флотом, а тут... Жизнь, считал, окончена.

Однажды адмирал флота Чернавин, с которым мы вместе учились в БВМПУ, бросил в шутку: «А ведь мог тоже стать адмиралом». Я же никогда не шутил, когда касались этой темы. Через многие годы после моего окончания БВМПУ, М. С. Горбачев, назначая меня руководителем внешней разведки, готовился подписать указ о присвоении мне звания генерал-полковника. Я отказался, сказав, что присвоение сразу этого звания мне, пришедшему со стороны, создаст ненужное напряжение с коллегами. Добавил, что, если стану генералом, все забудут, что я академик – к этому времени уже был действительным членом Академии наук Советского Союза. Моя жена Ирина Борисовна заметила: «А ведь если бы предложили адмирала, а не генерал-полков-

ника, у тебя отказаться сил не было бы.

Приехав в Тбилиси, мамиными заботами вылечился и окончил одиннадцатый класс в 14-й мужской средней школе – тогда в Тбилиси было одиннадцатиклассное образование и раздельное обучение. Куда поступать? Решил держать экзамены в Московский институт востоковедения. Может быть, повлияло то, что туда нацелился мой друг Сурен Широян. Но признаюсь, я не был одержим поступлением именно в этот вуз. Вообще я хотел вначале пойти на математический, но в физике был слаб, а мама умоляла: куда угодно поступай, но прошу – не в медицинский. Да я в него и не стремился.

Москва: первые радости и первые невзгоды

Приехали в Москву. Хорошо сдали вступительные экзамены. В тот год была потребность в специалистах по Китаю. Не исключаю, что поддался бы на уговоры и выбрал бы китайское направление, но задели на собеседовании слова профессора Евгения Александровича Беляева: «Вы, должно быть, решили пойти на арабский, так как вам мерещатся караваны в пустыне, миражи, заунывные голоса муэдзинов?» И я ответил: прошу зачислить на арабский – баллов для этого у меня достаточно. Так стал арабистом.

В институте больше всего любил страноведческие и общеобразовательные предметы. Блестящие лекции по исламоведению профессора Беляева, по различным разделам истории – профессоров Турка, Шмидта, по политэкономии – профессора Брегеля были настоящими праздниками. Но гораздо меньше интереса я проявлял, к сожалению, к арабскому языку, что и сказалось: по всем предметам, кроме арабского, в дипломе были «пятерки», а на госэкзамене по арабскому получил «три».

Принимала экзамен чудесный преподаватель и исключительно хороший человек – палестинская христианка Клавдия Викторовна Одэ-Васильева. Она приехала в Россию перед Первой мировой войной, вышла замуж за русского врача

Васильева, который погиб на фронте. После этого всю свою жизнь посвятила преподаванию. Ассистировали ей на выпускных экзаменах Беляев и Шмидт. Отвечал я хорошо, просто сумел сосредоточиться. На вопрос Клавдии Викторовны – какую отметку поставить, ассистенты сказали «пять». Это меня и погубило. «Как “пять”?! – возмутилась Клавдия Викторовна. – Он часто пропускал занятия. “Три”». С тройками в дипломе тогда не давали рекомендации в аспирантуру, а я очень хотел продолжить в ней учебу и уже выбрал для этого экономический факультет МГУ. Но что поделаешь – значит, не всегда мечты сбываются.

Вдруг неожиданно встречаю в институтском коридоре Клавдию Викторовну. «Как ты относишься к поставленной тебе “тройке”?» – спрашивает она. «Я большего и не заслуживаю, это справедливая отметка», – ответил я. После этих слов Клавдия Викторовна пошла к директору института и настояла на том, чтобы я все-таки получил рекомендацию в аспирантуру, пригрозив, что в случае отказа пойдет «на самый верх».

Оканчивали мы институт в 1953 году. В марте умер И. В. Сталин. Нас захлестнуло горе. На траурном митинге плакали многие. Выступавшие искренне недоумевали: сумеем ли жить без Сталина, не раздавят ли нас враги, уцелеем ли? Я чуть не поплатился жизнью, когда пытался через Трубную площадь пробиться к Колонному залу Дома союзов, чтобы проститься с вождем. Была настоящая Ходынка, в страшной

даже погибли десятки людей. Нас возмутили услышанные по радио абсолютно спокойные голоса Маленкова и Берия, выступавших с трибуны Мавзолея на похоронах Сталина. Наши симпатии были на стороне третьего выступавшего – Молотова, который еле сдерживал рыдания.

Те, кто считает, что со смертью Сталина сразу прорвалась плотина и резко изменилось сознание всех граждан Советского Союза, глубоко ошибаются. Процесс зародился, потом, как говорится, пошел, но постепенно. И в этом была своя закономерность. Большинство моих соотечественников, и я среди них, понимали, что при всех трудностях, иногда даже перераставших в трагедии, было немало хорошего в жизни страны, народа.

Впервые о негативных, трагических сторонах нашей истории было сказано на XX съезде партии, в речи Хрущева, которую не опубликовали, а зачитывали на собраниях коммунистов и комсомольцев. Для многих это прозвучало как гром среди ясного неба. Реакция большинства выражалась в возмущении по поводу скрытых от народа сторон жизни партии, страны и, естественно, в мучительном переосмыслении далеко, как оказалось, не однозначной роли Сталина. Но в разговорах между собой мы нередко отдавали должное более сбалансированному документу китайской компартии о культе личности, хотя понимали, что на характер этого документа повлияло желание обойти критикой свой «культ» Мао Цзэдуна.

Так или иначе, XX съезд нас раскрепостил и оказал сильное влияние на формирование мировоззрения моего поколения. Конечно, впоследствии решающее воздействие оказывали и другие события, но первым импульсом, заставившим мыслить по-иному, чем в прошлом, можно считать XX съезд партии.

«Съездовское» время застало меня в аспирантуре Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Три года, проведенные в ней, прошли в упорной работе. Аспирантура экономфака МГУ давала очень многое: отличную теоретическую подготовку, учила работе с источниками, аналитическому осмыслению происходящего. Конечно, были там и профессора-догматики, да где их в то время не было. Но что самое главное – общая обстановка в аспирантуре подталкивала к самостоятельному мышлению.

Мы прошли в аспирантуре МГУ хорошую марксистскую школу. Позже многие из нас (и я в том числе), не порывая с марксизмом, стали отходить от представлений о нем как о единственной науке, чуть ли не религии. Мы были хорошо теоретически подкованы и имели все основания считать, что нельзя «с водой выплескивать ребенка». Конечно, марксистские постулаты не могут применяться вне времени и пространства, но этот вывод ни в коей мере не относится к марксистской методологии, которая имеет историческую ценность.

Коллектив аспирантов был очень дружный. Ходили все

вместе в театр, совершали вылазки на природу. Дружба с некоторыми из них, в первую очередь со Степаном Арамаисовичем Ситаряном, прошла через всю жизнь. Выдающийся профессионал, он стал в 1980-е годы заместителем председателя Госплана, а затем зампредом Совета министров СССР.

Большинство аспирантов были иногородними, но и москвичи проводили все время с нами, а часто и заночевывали в нашем общежитии МГУ, в высотном здании на Ленинских горах – мы стали первыми его «поселенцами». Моим соседом по блоку (две шестиметровые комнаты с общими «удобствами») был китайский аспирант Чжу Пэйсинь – скромный, деликатный, трудолюбивый, он занимался с раннего утра и до ночи, – умный парень. В одном блоке со Степаном Ситаряном жил кореец Чен, приехавший на учебу в Москву чуть ли не прямо с фронта Корейской войны, не повидавшись даже с семьей.

Мы были все в одной компании, не отгораживались от «несоветских» и тогда, когда бурно обсуждали перипетии нашей действительности. Они, как правило, не участвовали в разговорах такого рода, но буквально впитывали их в себя. Это обернулось трагически. Чжу Пэйсинь после возвращения в Китай провел много лет в деревне, куда был послан «на исправление», – как он мне рассказал позже при встрече в Китае, голодал, с рассвета и до темноты занимался тяжелым физическим трудом, но, слава Богу, выжил и после осуждения в Китае «культурной революции» вернулся в Пе-

кин, где впоследствии стал профессором университета. Приехав в КНР в 1995 году, я попросил моих коллег (тогда я работал в СВР) найти Чжу. Мы сорок лет не виделись с ним. Обнялись и долго стояли так – не хотели, чтобы окружающие видели наши слезы. Чжу уже почти забыл русский. Объяснялись по-английски, вспоминая молодость. Это была грустная встреча, больше я с ним не виделся.

А судьба корейца Чена, судя по всему, сложилась трагически. Степан Ситарян узнал через несколько лет, что он после возвращения домой выступил на партсобрании с критикой культа личности Ким Ир Сена. После этого его никто не видел...

С нами вместе часто находилась, активно участвуя во всех разговорах, моя жена Лаура. Женился я на тбилисской девушке Лауре Харадзе, будучи студентом третьего курса. Она была тоже студенткой, училась на втором курсе Грузинского политехнического института. После замужества перевелась в Москву, в Менделеевский институт на электрохимический факультет. В наше время многие ранние браки распадаются. Я прожил с Лаурой тридцать шесть лет. Вначале нам вместе было очень нелегко. Свое собственное первое жилье, комнату в общей квартире, я получил в 1959 году, уже работая в Гостелерадио. Это было для нас настоящим счастьем: все годы до этого снимали, если повезет – комнату, если нет – угол. Особенно тяжело стало, когда в 1954 году родился сын, – многие хозяйки предпочитали сдавать жилье

семьям без детей, и поиски места проживания становились настоящей мукой.

Мы вынуждены были отправить девятимесячного Сашеньку в Тбилиси, где до двух с половиной лет он жил у моей мамы. Когда позвонил ей по телефону и сказал, что у нас нет выхода, кроме как послать сына на время к ней, у нее вырвалось: но ведь я работаю. За этим последовала мамина телеграмма – немедленно привози ребенка, я все устрою.

В мои аспирантские времена Лаура разрывалась между учебой в институте и поездками в Тбилиси, а будучи в Москве, тайно жила в моей аспирантской комнате в МГУ. Мой сосед по блоку Чжу Пэйсинь ни разу меня не упрекнул, никто не заложил. Всех связывало чувство товарищества.

Жили мы в зоне «Б» на четвертом этаже. Почему-то именно этот этаж был выделен администрацией университета в качестве показательного. Всех высоких гостей приводили к нам. Были у нас и Неру, и Тито, который в 1955 году, после долгой ссоры со Сталиным был приглашен в Советский Союз. Мы собрались в зале нашего этажа. Тито поздоровался с нами, а потом начал внимательно слушать разъяснения министра высшего образования Елютина. «А как используется этот зал?» – спросил Тито. «Для коллективных мероприятий, например самодеятельности», – отвечал Елютин. «А это тоже самодеятельность?» – Тито указал пальцем на висевшую на стене картину, изображающую Ленина и Сталина, которые сидели рядом на скамейке в Горках, где, как извест-

но, больной Ленин, у которого в то время были неприязненные отношения со Сталиным, провел последние годы жизни.

Через много-много лет, уже после смерти Тито, я был в Белграде, в его доме. По моей просьбе меня повели туда югославские друзья. Каково было мое удивление, когда на книжной полке я увидел фотографию Сталина. Что это – всеядность человека, который бережно хранил фотографии своего врага, или дань уважения к противнику?

Я окончил аспирантуру, подготовив диссертацию на тему о получении максимальных прибылей иностранными нефтяными компаниями, оперирующими на Аравийском полуострове. Работая над диссертацией, знакомился в том числе и с технической литературой по нефти – это мне пригодилось в будущем. Но защитить диссертацию до окончания срока аспирантуры не смог. Тогда требовалась перед защитой публикация на диссертационную тему, издал небольшую монографию «Страны Аравии и колониализм», но вместе с тем исключалась защита в той организации, в которой подготовил диссертацию. Это положение ввели незадолго до окончания срока моего пребывания в аспирантуре, и я не мог себе позволить длительную, без работы, паузу, необходимую для вторичного обсуждения диссертации и выполнения по ней всех формальностей в другом учебном или исследовательском учреждении. В результате начал подыскивать себе место преподавателя политэкономии. Знал, что во многих городах Союза есть хорошие вузы, там, думал, и защищусь.

Но судьба распорядилась и на этот раз иначе.

Сергей Николаевич Каверин – главный редактор арабской редакции иновещания, с которым познакомился, так как время от времени писал в его редакцию, чтобы подзаботиться, предложил поступить к нему. Так я стал профессиональным журналистом. За год последовательно прошел путь корреспондента, выпускающего редактора, ответственного редактора, заместителя главного редактора. После безвременной кончины Сергея Николаевича на должность главного назначили Андрея Васильевича Швакова – фронтовика-белоруса, очень честного, порядочного человека. Я был у него заместителем. Потом с его подачи (!) сделали рокировку: он стал заместителем, а я главным. Мы с ним дружили многие годы, вплоть до его смерти.

Работа на иновещании дала очень многое. Прежде всего – умение быстро и при любом шуме подготовить комментарий на происходящие события. Вместе с тем для меня это была первая школа руководителя. В свои двадцать шесть лет я возглавил коллектив в семьдесят человек, среди которых, пожалуй, был самым молодым.

В 1958 году я удостоился чести в качестве корреспондента Всесоюзного радио сопровождать Н. С. Хрущева, Н. А. Мухитдинова, маршала Р. Я. Малиновского и других членов партийно-правительственной делегации в Албанию. Кто предложил послать именно меня, не знаю. Может быть, «наверху» кто-то решил, что Албания – арабская страна. Ну

а если не арабская, то все-таки «мусульманская». Командировка эта запомнилась на всю жизнь. Увидел Хрущева вблизи, и это было очень любопытно.

Он умел в резкой форме заявлять о своей позиции, но и знал, как самортизировать недовольство собеседников, если хотел их расположить к себе. Не всегда, правда, это удавалось. Выслушав на аэродроме приветственную речь Энвера Ходжи – первого секретаря компартии Албании, которая изобиловала антиюгославскими выпадами, Хрущев при первой же встрече с Ходжей в присутствии журналистов сказал ему: «Я не хочу, чтобы вы превращали мой визит в антиюгославскую кампанию (шел процесс примирения с Тито), – и тут же добавил: – Мы с вами – настоящие ленинцы и можем постоять за чистоту марксизма-ленинизма в других формах».

Хрущеву не понравилась программа пребывания в Албании – «мало встреч с людьми», и он потребовал ее откорректировать уже во время визита. Албанцы подавили в себе возмущение и с этим тоже смирились. Без всякой дипломатии Хрущев гнул свою линию. «А это зачем?» – спросил он, ткнув указательным пальцем в скульптуру Сталина у входа в текстильный комбинат, построенный Советским Союзом. Молча выслушал разъяснения сопровождавшего его премьер-министра Мехмета Шеху: «Сталина чтут в Албании, так как он направил ультиматум Тито, когда тот уже был готов силой присоединить ее к Югославии, – мы с автомата-

ми в руках ждали нападения. С его именем связано и строительство нашего промышленного первенца-комбината, которым мы гордимся». — «А чего гордиться? — сказал Хрущев. — Построили-то вам комбинат уже устаревший — в один этаж. За границей давно уже строят многоэтажные производственные здания».

В своей главной часовой речи, произнесенной на митинге без заранее подготовленного текста, Хрущев заявил: «Если США поставят свои ракеты в Греции и Италии, то мы разместим свои в Албании и Болгарии». Мне показалось, что албанцы были ошеломлены, но довольны, так как нуждались в гарантиях и, таким образом, могли надеяться их получить. Одновременно прозвучало предложение Хрущева превратить Средиземноморье в зону мира.

В этой же речи он неожиданно выразил соболезнования Соединенным Штатам по поводу кончины Джона Фостера Даллеса — государственного секретаря, известного своей, мягко говоря, антисоветской позицией. Это не помешало Никите Сергеевичу заявить, что в последние годы своей жизни Даллес изменился. Словом, в выступлении было много новых моментов — хоть отбавляй.

С этой речью была связана острая коллизия и для меня. К моменту ее произнесения уже было ясно, что Хрущев будет все время выступать без текста, а его речи — стенографироваться, затем редактироваться двумя помощниками — Шуйским и Лебедевым и лишь после одобрения Хрущевым

окончательного текста передаваться в ТАСС. На всю эту процедуру требовалось много часов. Албанцам сказали сразу, что они могут публиковать выступление Хрущева только по ТАССу. Они справедливо обиделись и по радио Тираны нарочито передавали: «Как сообщает ТАСС, выступая в Тиране, Н. С. Хрущев сказал то-то и то-то».

То ли по неопытности, то ли потому, что ответственность за выполнение порученной мне столь важной миссии – освещать по радио визит советского лидера в Албанию – отодвинула на задний план все формальные моменты, я решил вторгнуться в «святая святых» – в порядок опубликования выступлений генерального секретаря. Подошел к его помощникам и сказал: «Разрешите мне готовить для передачи на московское радио изложение основных идей, высказываемых Никитой Сергеевичем. Я буду, конечно, показывать вам, а потом срочно сообщать все в редакцию, иначе я не очень понимаю, для чего я здесь нужен – только для того, чтобы передавать “антураж”?» – «Если ты такой смелый, – сказал Шуйский, – пиши и передавай под свою ответственность». Я это и сделал. Выдвинув главные идеи речи Хрущева на первый план, продиктовал корреспонденцию по телефону нашим стенографисткам в Москве, а сам, довольный собой, пошел пить пиво. Вдруг подходит ко мне корреспондент «Правды» Ткаченко, с которым у нас потом установились дружеские отношения, и говорит: «Иду из резиденции, там переполох, речь Хрущева решили не публиковать, но она

улетучилась, и сейчас пошли на нее отклики во всем мире. Ищут, кто виноват в утечке». У меня сердце ушло в пятки. Я представил себе, как меня срочно отзывают в Москву, исключают из партии, снимают с работы. Кстати, все тогда так и могло получиться. Увидев мое побелевшее лицо, Ткаченко ухмыльнулся: «Я пошутил. Напротив, Никите показали зарубежные отклики, и он очень доволен оперативностью». Очевидно, все было именно так, потому что я с этого момента спокойно передавал свои корреспонденции в Москву, и ни Шуйский, ни Лебедев мне не делали никаких замечаний. Правда, и не хвалили, просто не замечали.

На иновещании прошла реорганизация, укрупнили редакции, и меня повысили, назначив заместителем главного редактора редакции информации на все зарубежные страны. Все вроде шло хорошо. О диссертации даже перестал думать, но после моего выступления на одном из круглых столов (не помню уже, на какую тему я выступал) ко мне подошел грузный, седой мужчина и представился: Ростислав Александрович Ульяновский, заместитель директора Института востоковедения Академии наук. Расспросив меня о моей работе, интересах, в том числе о том, думаю ли я написать диссертацию, и услышав в ответ, что она готова и ждет защиты, Ульяновский предложил мне защищаться в его институте. Это предложение было повторено мне по телефону. Не было бы этой встречи, не знаю – защитил бы я когда-нибудь кандидатскую диссертацию, а ведь это открыло мне до-

рогу в науку, в академическую жизнь.

По-видимому, работал бы на иновещании еще многие годы, но весьма «осязасемо» прочувствовал скверное отношение ко мне заведующего сектором ЦК – он занимался радио. Возможно, ему не понравилось мое выступление на партсобрании, возможно, существовали какие-то другие причины, но в течение нескольких лет после сопровождения Н. С. Хрущева в его поездке по Албании я фактически был «невыездным». «Рубили» даже туристические поездки.

Тогда же была запущена легенда о моем происхождении. Мне даже приписали фамилию Киршенблат. Позднее я узнал, что в других «файлах» мне приписывают фамилию Финкельштейн – тут уж вообще разведешь руками, непонятно откуда.

Антисемитизм всегда был инструментом для травли у тупых партийных чиновников. Фамилия моего отца Немченко – об этом сказала мне мать. Я его никогда не видел. Их пути с матерью разошлись, в 1937 году он был расстрелян. Я с рождения носил фамилию матери – Примаков. С моей бабушкой по материнской линии – еврейкой – связана романтическая история. Обладая своенравным характером, она вопреки воле моего прадеда – владельца мельницы – вышла замуж за простого работника, к тому же русского, отсюда и фамилия Примаковых. Позже они жили в Тифлисе, а ее муж – мой дед, ставший подрядчиком на дорожном строительстве в Турции, погиб в схватке с грабителями-курдами.

Мне всегда были чужды как шовинизм, так и национализм. Я и сегодня не считаю, что Бог избрал какую-либо нацию в ущерб другим. Он избрал нас всех и всех создал по своему образу и подобию...

Извилистые пути корреспондента «Правды»

В это время меня познакомили с заместителем главного редактора «Правды» Николаем Николаевичем Иноземцевым, отвечавшим в газете за международную тематику. От него я и получил приглашение перейти в «Правду» обозревателем отдела стран Азии и Африки. Я сказал Иноземцеву, что за мной тянется какой-то «хвост», так как с некоторого времени начали отказывать в выезде за рубеж. Николай Николаевич при мне вызвал заведующего отделом кадров и сказал ему: «Запросите соответствующие органы о возможности использовать Примакова в качестве собственного корреспондента “Правды” в одной из капиталистических стран». Я понял, что меня направляют на проверку по самому высшему разряду, и был этому рад.

Для проверки нужно было определенное время. Предположив, что на мой уход может негативно отреагировать руководство Гостелерадио (так и получилось), Иноземцев предложил мне «промежуточно» самому подать документы на конкурсное замещение (я уже был кандидатом экономических наук) должности старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).

Мое четырехмесячное первое пребывание в ИМЭМО за-

кончилось после ночного телефонного звонка от главного редактора «Правды» П. А. Сатюкова. Мне сказали, что он меня ждет и за мной уже выехала машина.

– Когда можете приступить к работе? – спросил Сатюков.

После того как мы вышли из кабинета главного – так в то время во всех газетах величали главного редактора, – Иноземцев передал мне, что получена информация из «соответствующих органов» об отсутствии возражений против моей поездки за рубеж в качестве собкора «Правды».

– А что касается этого деятеля из сектора ЦК, то «Правда» вне пределов его влияния, – добавил Николай Николаевич, улыбнувшись.

Проработав в редакции «Правды» три года, я был назначен собственным корреспондентом этой газеты на Ближнем Востоке с постоянным пребыванием в Каире. «Правда» – орган ЦК КПСС, и будучи ее корреспондентом, впервые начал выполнять ответственные поручения Центрального комитета, Политбюро ЦК. Некоторые из них оформлялись в Особую папку, к которой мало кто имел доступ. В ней формулировалась задача, назывались исполнители. Как правило, меры безопасности и связь поручалось обеспечивать КГБ.

Мне довелось выполнить целый ряд таких поручений – много раз посещал север Ирака, где контактировал с руководителем курдских повстанцев Мустафой Барзани с целью сблизить его с Багдадом. Советский Союз хотел мира в Ираке. Мы симпатизировали освободительной борьбе курдов и в

то же время стремились укрепить свои позиции в новом руководстве Ирака, которое пришло к власти в 1968 году. С багдадской стороны ответственным за переговоры с курдами был Саддам Хусейн. Я встретился с ним в 1969 году, тогда же познакомился с Тариком Азизом, который был главным редактором газеты «Ас-Саура». И у Саддама Хусейна, и у Тарика Азиза в углу кабинетов стояли автоматы. Время было тревожное. Я совершил много поездок на север Ирака – сначала во время боевых действий к зимней резиденции Барзани по тропам на мулах, потом вертолетом. Соглашение о мире было подписано в 1970 году.

Другой эпизод – первое знакомство с левобаасистскими лидерами после переворота в Дамаске, который произошел 23 февраля 1966 года. В то время в Каире находился первый заместитель министра иностранных дел СССР Василий Васильевич Кузнецов. Он был у Насера, когда поступило сообщение о перевороте в Сирии. Власть в Дамаске взяли правые, антинасеровские силы. Я получил указание редакции срочно вылететь в Дамаск.

Прилетел в Бейрут. Сухопутная ливано-сирийская граница оказалась закрытой, закрыт был и аэродром Дамаска, но все же правдами и неправдами удалось получить место на чешском самолете, который летел в Багдад с технической посадкой в Дамаске. Я попытался остаться там. Но меня хотели во что бы то ни стало выдворить. Помог телефонный звонок к одному из руководителей левобаасистского движе-

ния, пришедшего к власти, Джунди. Была свежа в памяти недавняя встреча в Сирии с ним и его братом – профсоюзным лидером. Результатом полученных интервью стала статья в «Правде» под заголовком «Многоэтажный Дамаск». Заголовок был со смыслом. В Дамаске вплоть до недавнего времени запрещали строить здания выше мечетей, и поэтому, а может быть – из-за жаркого климата, здания уходили на несколько этажей в землю, и их окружали расположенные ниже поверхности небольшие садики. Издали определить число этажей в дамасских домах было невозможно. А статья моя была посвящена правящей баасистской партии, в отношении которой у нас господствовали однозначно негативные оценки, особенно в связи с ее антикоммунизмом. Однако в результате моих контактов выяснилось, что баасистская партия в Сирии отнюдь не однородна. Ее левое крыло не воспринимало антикоммунизм, придерживалось прогрессивных взглядов и идей. После моей публикации, которая наделала много шума в Сирии, братья Джунди чуть не лишились своих постов, а после переворота 23 февраля Абдель Керим Джунди возглавил спецслужбу. Ему я и позвонил, и мне было немедленно разрешено выехать из аэропорта в город.

Корреспондент «Правды» был первым иностранцем, который встретился с премьер-министром нового правительства Зуэйном. Рассказав ему о сомнениях Насера, я взял на себя смелость посоветовать собрать пресс-конференцию

и заявить, что пришедшие к власти в Сирии люди не имеют ничего общего с правыми антинасеровскими группами. Пресс-конференция состоялась. Естественно, я все это доложил шифротелеграммой в Москву, а в Дамаске для меня открылись многие двери. 8 марта во время баасистской демонстрации я был приглашен на трибуну, где познакомился с Хафезом Ассадом, в то время командующим военно-воздушными силами страны. Ассادا окружала группа прибывших с ним автоматчиков, которые напряженно вглядывались в шеренги проходивших мимо демонстрантов, – новая власть, судя по всему, еще не чувствовала себя в безопасности. Через много лет я спросил Хафеза Ассادا, узнаёт ли он во мне того относительно молодого корреспондента «Правды», который был представлен ему во время баасистского парада. Он был крайне удивлен, что тот человек и я – одно и то же лицо.

Был я первым иностранцем, который встретился и с генералом Нимейри, возглавившим переворот в Судане в 1969 году. Я привез генеральному секретарю суданской компартии послание ЦК КПСС, в котором говорилось о поддержке Советским Союзом революционных изменений в этой стране. К сожалению, нашим оптимистическим прогнозам не суждено было сбыться – сыграли свою роль в том числе и ошибки суданской компартии. Но столкновения между Нимейри и коммунистами начались позже.

Я прибыл в столицу Судана, когда еще не была восстано-

лена телефонная связь. Я вынужден был передавать первую корреспонденцию из посольства шифротелеграммой. Конечно, это было нарушением всех канонов. Но это была первая информация о происходящем, да еще с изложением разговора с Нимейри. Позже узнал, что корреспонденция увидела свет, так как Суслов на доложенной ему моей телеграмме наложил резолюцию: «Опубликовать в “Правде”».

В общем, многое что есть вспомнить. Я продолжал выполнять ответственные миссии по заданию советского руководства, уже не находясь на журналистском поприще, а перейдя на работу в академические институты. Среди этих миссий – конфиденциальный визит в Оман для установления дипломатических отношений СССР с этим аравийским княжеством. Визит, который по нашей просьбе подготовил король Иордании Хусейн, оказался успешным.

Особое значение имели, очевидно, строго конфиденциальные встречи с израильскими руководителями – Голдой Меир, Моше Даяном, Шимоном Пересом, Ицхаком Рабином, Менахемом Бегинем – он единственный из всех говорил по-русски: провел в ссылке у нас на севере около двух лет, написал об этом позже книгу, был освобожден, поступил на службу в польскую армию Андерса. Целью всех этих контактов, осуществленных с вельможей Садата, который после Насера стал президентом Египта, был зондаж возможности установления всеобщего мира с арабами.

С Ясиром Арафатом, Абу Айядом¹, Абу Мазеном, Ясиром Абдраббо и другими палестинцами знаком, много беседовал, спорил, дружил с конца 1960-х – начала 1970-х годов. Степень дружеских отношений подчеркивает хотя бы то, что, совершая поездку в Багдад в 1990 году (их всего было три во время кризиса в зоне Персидского залива), я остановился в Аммане, где не только встретился с королем Хусейном, но и попросил прилететь туда из Туниса Ясира Арафата. Он прибыл в назначенное время со всем руководством Организации освобождения Палестины.

Сначала Арафат безоговорочно одобрял насильственное присоединение Кувейта к Ираку, говорил, что в поддержку Саддама выступят народные массы и в арабских странах создастся принципиально иная – революционная ситуация. Чувствовалось, что не все руководство, например, Абу Айяд, Абу Мазен и некоторые другие, придерживалось аналогичных взглядов. Но, по-видимому, окончательно охладили пыл Абу Аммара (так называли Я. Арафата его близкие) мои слова: «Помнишь, как мы сидели в маленькой комнате на твоей походной железной кровати в Дамаске накануне “черного сентября”² 1970 года? Нарастала напряженность

¹ Второй по значению лидер в ООП, руководивший военными операциями. За время многих встреч сложилось впечатление о нем как о человеке непростом, эволюционирующем в сторону реализма. Он был убит в Тунисе при неизвестных обстоятельствах в 1992 году.

² Такое название получили события, начавшиеся с захвата заложников и насильственной посадки террористами четырех самолетов на амманский аэродром

в Иордании, в воздухе витала угроза боевых действий, ты тогда мне тоже говорил, что совершенно не опасаясь, если события приведут к столкновению палестинцев в Иордании с королевской армией – офицеры в ней, де, палестинцы, да и в арабских народных массах начнутся революционные процессы, “как во Вьетнаме”, а те арабские режимы, которые не поддержат ООП, будут под “народным огнем”. Что из этого получилось, хорошо известно».

После этих слов Арафат приказал подготовить свой самолет к вылету в Багдад и обещал, что проведет «нужную по тону» беседу с Саддамом Хусейном до моего приезда.

Я был знаком почти со всеми ливанскими руководителями – и мусульманскими, и христианскими, разведенными гражданской войной по разные стороны баррикад: с Шамуном, Пьером Жмайелем, их сыновьями, Джумблатом – отцом и сыном, Рашидом Караме и другими.

Вместе с И. П. Беляевым проговорили три часа с Анваром Садатом в декабре 1975 года в его загородной резиденции на Барраже. Получив международную премию имени Насера за книгу о выдающемся египетском руководителе, мы были приглашены для откровенного разговора и практически ста-

с угрозой взорвать их с пассажирами, а затем широкомасштабными вооруженными столкновениями иорданской армии с палестинскими боевиками. Стремление Сирии прийти на помощь палестинцам было пресечено угрозой вторжения в Иорданию израильской армии. В результате столкновений палестинские вооруженные отряды, равно как и штабы их политических организаций, были вынуждены покинуть территорию Иордании.

ли последними советскими людьми, с которыми Садат встречался. Не из-за характера нашей дискуссии – напротив, она была весьма дружеской, – но Садат уже принял к этому времени решение повернуться спиной к Москве.

Три ночные продолжительные встречи (он обычно принимал гостей ночью) состоялись с саудовским королем Фахдом, который подарил мне свои четки, сопроводив это словами: «Я – хранитель двух главных мусульманских святынь, и смотри не передаривай эти четки никому». Я так и поступил. Король Фахд в 1991 году мне говорил, что любит смотреть по телевизору московскую программу «Время», которая, по его словам, правдиво освещает события на Ближнем Востоке, и спросил: «Нельзя ли организовать ежедневный перевод этой программы на арабский язык?»

В музей короля Фейсала я привез уникальную документальную киноплёнку. На ней был запечатлен приехавший в Москву в 1930 году Фейсала, тогда еще не король, а министр иностранных дел Саудовской Аравии, которого на железнодорожном вокзале встречал заместитель наркома иностранных дел Крестинский. За это меня благодарили сыновья покойного короля Фейсала, занимавшие в конце двадцатого столетия высшие посты в саудовском правительстве.

Я многократно встречался и всегда испытывал самые добрые чувства к иорданскому королю Хусейну. Можно считать, что обоюдная симпатия или – возьму на себя смелость сказать – дружеские отношения зародились, когда опоздал

к нему на прием в 1970 году. Король встретил меня в цветастой рубашке с закатанными рукавами и засмеялся, когда я, объясняя причину опоздания, сказал: «Виноваты вы сами: Иордания – единственная арабская страна, где не проедешь на красный свет». О близости отношений свидетельствовал хотя бы такой факт: однажды я был у иорданского премьера, и Хусейн, узнав, что я у него, сам приехал на мотоцикле (он прекрасно водил и самолеты различных марок), а за ним примчались взбешенные, безумно испуганные за своего по-настоящему любимого сюзерена черкесы из личной охраны.

С братом короля, Хасаном, я переписывался годами. В добрых отношениях был и с другим прямым наследником пророка Мухаммеда – марокканским королем Хасаном II, сыгравшим, особенно на «палестинском направлении», выдающуюся роль в попытках сблизить позиции сторон. К сожалению, обоих – и короля Хусейна, и короля Хасана II – уже нет в живых.

Откровенные и доверительные отношения установились у меня с президентом Египта Мубараком, начальником его канцелярии Усамой аль-Базом.

Да разве всех и все миссии перечислишь? Я рассказываю об этом гораздо подробнее в другой книге³.

Работа в «Правде» была для меня очень важным этапом в моей жизни еще и потому, что в этот период я встретился

³ *Примаков Е.* Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (Вторая половина XX – начало XXI века). М.: Российская газета, 2006.

и сблизился с людьми, которые внесли большой вклад в процесс реформирования нашего общества.

Глава II

Внесистемные диссиденты

Если стремление происходит из источника чистого, оно все-таки, и не удавшись вполне, не достигнув цели, может принести пользу великую.
Иван Тургенев

Трудное избавление от догм

У нас и за рубежом много писали и до сих пор пишут о диссидентах, раскачавших советскую систему. Их имена хорошо известны. Это и Андрей Сахаров, и Александр Солженицын, и Мстислав Ростропович, и другие. Но они никогда не были частью системы. Они критиковали ее, боролись с ней, требовали ее ликвидации, — но все это «извне», даже в то время, когда некоторые из них еще жили в СССР, до своего вынужденного выезда из страны.

Хотя их мало упоминают, однако были и внутри системы люди (в том числе занимавшие далеко не низкие официальные посты), сотрудники научных учреждений, газет и журналов, которые выступали не только против преступной практики массовых репрессий, но и против господствовавших идеологических догм, нелепых, анахроничных представле-

ний в области официальных теоретических постулатов. Мне повезло, так как жизнь свела со многими из таких людей, с некоторыми даже сдружила, а во «внутрисистемных диссидентских» учреждениях привелось работать много лет.

После XX съезда КПСС упор «внутрисистемные диссиденты» сделали на то, что Сталин извратил учение Ленина, создал нечто, противоречащее его идеалам, мыслям и установкам. Это выразилось и в массовых репрессиях, унесших миллионы жизней ни в чем не повинных людей, в варварских методах коллективизации, погубившей крестьянство. Но этим критика Сталина не ограничилась. Постепенно она начала распространяться на вопросы партийно-государственного строительства.

Еще в начале 1960-х годов, то есть задолго до перестройки, главный редактор газеты «Правда» академик Алексей Матвеевич Румянцев написал ко Дню печати, который отмечался в СССР 5 мая, статью о необходимости возвратиться к ленинским принципам: по его словам, при временном отказе от фракционности в партии возник дискуссионный «вакуум», и Ленин предполагал, а также предлагал заполнить его своеобразным двоецентрием – партийным комитетом и партийными газетами и журналами. В таких условиях партийная пресса призвана была критиковать не только нижестоящие организации, но и тот партийный комитет, печатным органом которого являлась. Поскольку «Правда» являлась органом ЦК КПСС, то газета правомочна критиковать

и ЦК партии, и Политбюро, утверждал Румянцев. По тем временам это была ересь. Чем это могло обернуться – теперь известно.

К А. М. Румянцеву приехал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК и от имени Суслова, руководившего в ту пору всем идеологическим направлением работы партии, предложил исключить из статьи самую ее сердцевину. Румянцев наотрез отказался и вообще снял статью, – я дежурил в типографии, и мы поспешно забивали образовавшуюся дыру на полосе другими материалами.

Румянцев был вовсе не рядовой партиец, поэтому он смог противостоять всемогущему Суслову.

Постепенно стало крепнуть второе направление объективного идеологического расшатывания существовавших порядков. Оно не только касалось «отступничества Сталина», а в той или иной форме признавало несоответствие реальности догматических постулатов марксизма-ленинизма.

Опять обращаюсь к примеру Румянцева, которому принадлежали две «двухподвальные» статьи об интеллигенции, наделавшие много шума в стране, так как он, отказавшись от схемы, отводившей центральное место в обществе пролетариату, показал истинную роль интеллигенции. Как было принято, гранки статей такого рода рассылались членам Политбюро, замечания которых надлежало учитывать. На статьи Румянцева комментарии поступили от одного из помощников генерального секретаря, на что Алексей Матвее-

вич отреагировал запиской в ЦК, в которой заявил, что, будучи членом выборного органа, не намерен получать замечания от партийных чиновников. Статьи были опубликованы, но ему этого не простили – через некоторое время Румянцев оказался в Академии наук, а в «Правду» пришел другой главный редактор.

Когда он уже был в Академии наук – а мы с ним жили в одном доме и по вечерам нередко гуляли вместе, – я много часов проговорил с этим честнейшим, прямолинейным, но несколько «зашоренным» человеком, которого уважал и любил.

Румянцев стал «внутрисистемным диссидентом», будучи шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, организованного ЦК КПСС, но при членстве в редколлегии представителей целого ряда компартий. Этот журнал превратился в своеобразный партийный «центр инакомыслия». В журнале работала плеяда людей, которые в 1970–1980-х годах заняли ведущие позиции в международном отделе и в отделе соцстран ЦК КПСС. Их активная деятельность постепенно, хоть и не последовательно – иначе в то время и быть не могло, – помогала приближать партию к реальному пониманию действительной, а не «марксистско-книжной» обстановки в мире.

Характерно, что в этом направлении эволюционировал и секретарь ЦК Юрий Владимирович Андропов. После своего перевода с поста посла СССР в Венгрии он окружил се-

бя одаренными людьми, в основном выходцами из журнала «Проблемы мира и социализма», составив из них группу консультантов. Один из консультантов – Н. В. Шишлин – рассказывал мне, что сначала Андропов часто раздражался, а потом практически уже не мог обходиться без откровенных и достаточно острых «внутренних» дискуссий. С Андроповым работала в то время группа таких партийных интеллектуалов, как Г. А. Арбатов, Ф. М. Бурлацкий, А. Е. Бовин, Н. В. Шишлин и другие.

Второй мой приход в ИМЭМО состоялся после того, как, будучи корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, я «умудрился» защитить докторскую диссертацию, тоже по экономике. Но защите предшествовали бурные события, которые чуть ли не выбили меня из седла.

После Шестидневной войны, закончившейся полным военным разгромом Египта, мы вместе с приехавшим ко мне в Каир членом редколлегии «Правды» Игорем Беляевым опубликовали несколько статей в журнале «За рубежом», в которых осмелились сказать, что страну к этому поражению привела египетская военная буржуазия. Такая констатация выбивалась из русла антиимпериалистического накала официальной советской пропаганды. Тот же Ульяновский, который, как я писал, сыграл весьма положительную роль в моей жизни, подтолкнув к защите кандидатской диссертации, на этот раз готов был сбить с ног и меня и Беляева. К этому времени он уже стал заместителем заведующего

международным отделом ЦК КПСС. Человек этот не устал поражать. Семнадцать лет он как «враг народа» находился в тюрьме и ссылке. Работавшие с ним до его ареста ученые вспоминали, как он в 1930-х годах громил троцкистов, бухаринцев – арестовывали и таких. Но главное, что вернулся Ульяновский, сохранив весь свой догматический багаж, накопленный до того времени, когда был арестован. Прочитав наши статьи, он написал записку в секретариат ЦК с требованием строжайше наказать «отступников» от марксизма-ленинизма и партийной линии.

Статьи показали Насеру, а тот в беседе с послом СССР подчеркнул, что они отражают египетскую реальность. Посол сообщил об этом в Москву. Тучи над нашими головами рассеялись.

Приехав в отпуск в Москву, мы с Беляевым рассказали о положении дел в Египте группе, состоящей из вице-президента Академии наук П. Н. Федосеева, А. М. Румянцева, Н. Н. Иноземцева и других, которые готовили материалы к очередному пленуму ЦК. Нас настойчиво уговаривали защитить докторские диссертации на тему о внутренних противоречиях в Египте.

Перед защитой я получил предложение от Иноземцева, в то время уже назначенного директором ИМЭМО, перейти на работу к нему первым заместителем. Аналогичное предложение мне сделал Г. Арбатов – директор нового, отпочковавшегося от ИМЭМО Института США и Канады. После за-

щиты (Беляев защитился несколько позже) я поступил на работу в ИМЭМО.

В то время и Иноземцев, и Арбатов тесно сотрудничали с генеральным секретарем ЦК Л. И. Брежневым, участвовали в подготовке материалов пленумов, съездов партии, выступлений Брежнева. Между составителями этих материалов не было единства. «Прогрессистам», отстаивавшим необходимость отойти хотя бы от самых очевидных нежизненных догм, приблизиться к реальному пониманию действительности и внутри страны, и за ее пределами, противостояла сильная группа. Характерно, что и те и другие выходили на различных людей в высшем руководстве партии и сближались с ними. Тогда уже Иноземцев, например, с воодушевлением рассказывал мне, как отреагировал М. С. Горбачев – в то время один из секретарей ЦК – на замечания некоторых членов Политбюро, потребовавших исключить из готовившейся речи генерального секретаря ссылку на необходимость дать большую хозяйственную самостоятельность колхозам.

– «Если это не пройдет, – с восторгом пересказал Иноземцев слова Горбачева, – тогда народ сам все равно решит эту задачу».

Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные и что они дают определенный простор для новых идей. Но Брежнев, который, по словам Иноземцева, был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии

и в обществе, изменился после 1968 года – так его испугала Пражская весна. А потом к этому прибавились недомогание и старческий склероз.

ИМЭМО был центром выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал он особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля по своей близости к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию.

По-настоящему ИМЭМО расцвел в те годы, когда директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. Нас связывали, помимо служебных, дружеские и, что особенно важно, доверительные отношения. Это был несомненно выдающийся человек – образованный, интеллигентный, смелый, прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград, и в то же время легкоранимый, главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало – злобных, завистливых.

Сегодня, с расстояния пройденных лет, трудно даже представить себе, какие идеи приходилось нам доказывать, пробивать через сопротивление ретроградов. Ну хотя бы такой курьезный случай из практики 1970-х годов. ИМЭМО все-таки занимался долгосрочными прогнозами развития мировой экономики. Различные сценарии публиковались в нашем журнале. Один из его читателей – отставной генерал

НКВД – пожаловался в ЦК на то, что во всех этих сценариях, содержащих прогнозы до 2000 года, фигурирует «еще не отправленный на историческую свалку» капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось по этому поводу писать объяснительную записку в отдел науки ЦК.

А сколько сил ушло, например, на то, чтобы доказать не совпадавшее с выводами Сталина положение о существовании целого ряда одинаковых закономерностей в отношении производства, независимо от того, где оно развивается – в социалистическом или капиталистическом обществе. А ведь противники этого совершенно очевидного положения практически захлопывали дверь перед опытом западных стран, который можно было бы использовать в СССР.

Этот полезный для нас опыт становился содержанием записок, направляемых руководству страны. Щедро снабжал ими ИМЭМО и рабочие группы при Брежневе, а во времена Горбачева прорывался с такими записками на самый верх. Но часто это происходило поистине в карикатурных формах. Уже в годы перестройки Н. И. Рыжков, тогдашний председатель Совета министров, понимая важность преобразования подшипниковой промышленности для развития отечественного машиностроения, собрал у себя широкое совещание производителей и ученых. Мы в ИМЭМО серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции, ФРГ. На совещании в Кремле предложили схему объединения нескольких десятков хромающих на обе ноги подшипни-

ковых заводов в четырех научно-производственных структурах. В ту пору речь могла идти лишь о преобразованиях в рамках государственной собственности. Но, к удивлению многих присутствовавших, мы разъяснили, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию – так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем – мне нужен еще один заместитель министра».

Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению». Но в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали...

Помню, как еще во времена Брежнева Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что ему, тогда кандидату в члены ЦК КПСС, впервые предложили выступить на пленуме Центрального комитета. С трибуны пленума Иноземцев, говоря не по бумажке, что тогда считалось чуть ли не кощунством (ведь это речь на пленуме!), возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государства, а, как он справедливо сказал, Министерства внешней торговли СССР. Второй темой была необходимость целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. Все бы ничего, но академик Иноземцев привел в этом отношении в пример капитали-

стическую Японию. Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей по поводу этого выступления: «Вы разве не видите, он нас пытается поучать!» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, остроумный, едкий А. М. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: «После вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным».

Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. В штыки встречались догматиками, а они верховодили, во всяком случае в отделах науки и пропаганды ЦК КПСС, такие бесспорные положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность современного капитализма добиваться серьезных успехов в экономическом регулировании на макро- и микроуровнях.

Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений то, что впервые было заявлено во всеуслышание о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.

А опровержение ИМЭМО постулата о неизбежности абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме! Ведь из этого постулата выводится постулат о неизбежности революции, свергавшей капиталистический строй.

Пожалуй, самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружающей нас действительности, было отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Между тем в ряде работ ИМЭМО, например, отстаивался тезис о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. Сама жизнь подталкивала к этому выводу.

Были и живые примеры, подтверждающие конвергенцию. В середине 1970-х годов я познакомился с В. В. Леонтьевым – одним из крупнейших американских экономистов, получившим всемирное признание за разработку и внедрение в экономическую практику США линейного программирования. Леонтьев в 1920-х годах работал в Госплане, в Москве. Будучи направленным в торгпредство в Берлин, стал «невозвращенцем», а затем переселился в Соединенные Штаты, где разработал свою теорию, в которой, в частности, смело и умно применил некоторые госплановские навыки и идеи.

В 1970-х он был гостем ИМЭМО, и Иноземцев пригласил его поужинать к себе домой. Незадолго до этого Ник Ник (так за глаза его многие называли в институте) въехал в шикарную квартиру – построили дом для членов Политбюро, но те в последний момент не захотели жить все вместе и отдали этот «нестандартный» дом Академии наук, которая распределила квартиры среди ученых. Леонтьев обошел все многочисленные «закоулки» – зимний сад, библиотеку,

гардеробную, сервировочную комнату, холлы – и, прищурив глаз, спросил: «Николай Николаевич, вот смотрю и думаю: а может, мне и не стоило уезжать?»

Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже после того, как в 1977 году я стал директором Института востоковедения – тоже важного академического исследовательского центра, сопоставимого по размерам с ИМЭМО, но меньше связанного с выработкой политики и с хозяйственной практикой в СССР. Но, совершенно естественно, я, сохранив все связи с ИМЭМО, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника этого института были арестованы по обвинению ни больше ни меньше как в сотрудничестве с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева, «создавшего такой климат в институте». В кампании против ИМЭМО активно участвовал член Политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробно мне рассказал Ник Ник, которого я посетил в больнице на Мичуринском проспекте – у него резко ухудшилось здоровье.

Узнав от Арбатова и Бовина о происходившем с Иноземцевым, Брежнев позвонил Гришину, и тот, будучи предсе-

дателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились... А Н. Н. Иноземцев в 1982 году скончался от сердечного приступа. После него три года директором ИМЭМО был А. Н. Яковлев.

Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников, а они задавали тон в академии, была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы способствовать подчинению диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м – академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, далеко не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не на ушах стояло, чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова – одного из близких к Брежневу людей. На общем собрании академии его «прокатили».

Срабатывал синдром негативного отношения ученых

к партийным и советским функционерам. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики, как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента, министра высшего образования Елютина. Известный физик академик Леонтович задал вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от членкорства, то есть за четыре года?» В ответ был приведен перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик Леонтович вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром – у него попросту на это не могло хватить времени. Или наоборот». В результате опять при тайном голосовании «прокатили».

Были и другие причины отказа в избрании. Помню, как при обсуждении кандидатуры одного почтенного и достаточно известного юриста взял слово академик Глушко, один из крупнейших конструкторов-ракетчиков, и зачитал несколько выдержек из работ претендента, где тот высказывался в пользу так называемой презумпции виновности, то есть достаточности самопризнания для обвинения. Академик Глушко спросил, где работал соискатель в 1937 году. Последовавший ответ – в Центральной прокуратуре – был достаточным. Проявилась неприязнь, а у кого и ненависть

к тем, кто так или иначе ассоциировался с массовыми репрессиями, которые не обошли и очень многих ученых, конструкторов, увешанных теперь орденами, тех, кто сидел в зале и голосовал.

Характерна и эпопея с А. Д. Сахаровым. Несмотря на то что некоторые коллеги подписались под осуждающим его письмом в «Правду», при всем давлении сверху ни разу даже не пытались поставить вопрос об исключении Сахарова из академии. Не было никаких сомнений, что тайное голосование по этому вопросу с треском бы провалилось.

Президент академии М. В. Келдыш сказал нам, нескольким членам академии, которых он пригласил для составления ответа американским ученым, выразившим протест против гонений на Сахарова: «Вы, пожалуйста, не переусердствуйте. Сахаров – крупнейший ученый и сделал очень много для страны». Академик Келдыш, а он мог себе это позволить, возмущенно говорил о том, что с Сахаровым высшие руководители партии и государства вообще не встречались.

Когда уже при Горбачеве Сахаров вернулся в Москву из своего вынужденного пребывания в Нижнем Новгороде (тогда город Горький), все в академии вздохнули с глубоким облегчением.

Международные отношения: Что за кадром

Мы понимали, что следует отходить от догматических представлений и во внешнеполитической, и военно-политической областях.

В этой связи наиболее актуальной стала теоретическая проблема трактовки мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Традиционно оно рассматривалось как передышка в отношениях между социализмом и капитализмом на международной арене. С появлением у двух сторон ракетно-ядерного вооружения, способного уничтожить не только две сверхдержавы, но и большую часть населения планеты, стали относить мирное сосуществование между двумя системами к категории более или менее постоянной. Но при этом не забывали добавлять, что это отнюдь не притупляет идеологическую борьбу.

Такое видение состояния отношений с Западом, умноженное на стремление достаточно сильных и авторитетных кругов в США и некоторых других западных странах расправиться с Советским Союзом⁴, порождало перманентную

⁴ Характерны воспоминания, относящиеся к 1946 году, личного врача У. Черчилля лорда Морана, который процитировал своего пациента в разговоре с ним, как говорится, с глазу на глаз. «Нам не следует ждать, пока Россия будет готова, — сказал бывший британский премьер. — Я полагаю, пройдет восемь лет, прежде

нестабильность, неустойчивость на мировой арене. Создавался замкнутый круг, в котором раскручивалась гонка вооружений.

В это время в ИМЭМО и некоторых других научных центрах, отпочковавшихся от этого института, – особенно в Институте США и Канады, директором которого был академик Г. А. Арбатов, и в Институте Европы, возглавляемом академиком В. В. Журкиным, – началась разработка новых внешнеполитических подходов с целью переломить тенденции, ведущие к термоядерной войне. Вывод был сделан однозначный: нужно обеспечить надежную оборону, но не в ущерб гражданскому производству, развитию социальной сферы. Так появился термин «разумная достаточность».

Дело в том, что мы не просто наращивали свои вооружения, мы отвечали США «зеркально». Между тем игнорирование принципа «достаточности» с учетом возможности нанесения «неприемлемого ущерба» потенциальному агрессору стоило нам очень дорого. Экономика СССР не выдерживала гонки вооружений по принятым нами правилам.

В ИМЭМО и ряде других институтов Академии наук очень серьезно анализировали деятельность Организации Объединенных Наций, которая, по нашему мнению, долж-

чем она получит эти бомбы. Америка знает, что 52 процента машинной продукции России находятся в Москве и могут быть уничтожены одной бомбой. Это, возможно, будет означать гибель трех миллионов человек, но для них (американцев) это ничего не значит (он улыбнулся). Они скорее будут озабочены уничтожением исторических зданий вроде Кремля».

на была сыграть исключительно важную роль в установлении нового миропорядка. Основной фигурой в этих исследованиях был мой друг профессор Г. И. Морозов. Он прожил сложную жизнь, на которую тяжелым отпечатком легла его женитьба на дочери Сталина Светлане. Брак закончился трагически: Сталин развел этих любивших в то время друг друга людей, отец Морозова был арестован, Григория Иосифовича лишили возможности видеться с сыном, он зарабатывал на жизнь, пописывая статьи под чужими именами.

Когда Светлана эмигрировала, а затем с дочкой, родившейся в США, вернулась в Москву, Григорий Иосифович сделал все что мог, чтобы помочь им войти в нашу жизнь, обустроиться. Возможно, Светлана рассчитывала на восстановление с ним прежних отношений, но они стали к тому времени совсем разными людьми...

В 1970-х и первой половине 1980-х годов, когда у нас были лишь эпизодические контакты с США и другими западными странами по правительственной линии (разве сравнить с сегодняшними периодическими встречами на высшем и высоком уровнях, постоянными телефонными разговорами лидеров, заседаниями министров, регулярными обсуждениями на межправительственных комиссиях), особое значение приобрели дискуссии по самым злободневным внешнеполитическим вопросам, так сказать, на организационно-общественном уровне. Если по линии ранее созданного Советского комитета защиты мира (я был заместителем

его председателя) мы пытались разъяснять нашу политику, приобрести друзей и единомышленников за рубежом, апеллируя, как правило, к деятелям науки, культуры, к интеллигенции, то теперь стали возникать и другие каналы. По ним начала осуществляться уже не пропаганда, а зондаж возможности договориться по животрепещущим проблемам. Я, например, принимал непосредственное участие в закрытых обсуждениях, которые проводил ИМЭМО со Стратегическим центром крупнейшего в США Стенфордского научно-исследовательского института (SRI). Темой было сопоставление методик подсчетов военных бюджетов двух стран. Это подводило к началу пути сокращения вооружений.

Особенно большую роль в этом сыграли два движения, в которых я принимал непосредственное участие, – Пагуошское⁵, имевшее международный характер, и советско-американские Дартмутские встречи. Первое объединяло ученых различных стран, в том числе политологов. В недрах Пагуошского движения формировались общие идеи о смертельной опасности для всего человечества использования ядерного оружия. Участники этого движения, например, провели расчеты, осуществили моделирование, доказав, что в случае ядерной войны во всем мире наступит «ядерная зима» – резкое понижение температуры, при котором нет шансов на сохранение не только людей, но и всего живого на земле. Немало сделали участники этого движения для того, чтобы запре-

⁵ Создано в 1955 году. Среди инициаторов Эйнштейн, Жолио Кюри, Рассел.

тить ядерные испытания в атмосфере, приблизиться к мораторию на испытания ядерного оружия во всех сферах.

Что касается Дартмутских встреч, то они проводились регулярно практически для того, чтобы обговаривать и сближать подходы двух супердержав по вопросам сокращения вооружений, поисков выхода из различных международных конфликтов, создания условий для экономического сотрудничества. Особую роль в организации таких встреч с нашей стороны играли два института – ИМЭМО и ИСКАН. У американцев – группа политологов, в основном отставных чиновников из Госдепартамента, Пентагона, администрации, ЦРУ, действующих банкиров, бизнесменов. Долгое время возглавлял эту американскую группу Дэвид Рокфеллер, с которым у меня сложились очень теплые отношения. Мы с моим партнером Г. Сондерсом – бывшим заместителем госсекретаря США – были сопредседателями рабочей группы по конфликтным ситуациям. Нужно сказать, что мы значительно продвинулись в выработке согласованных мер нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Естественно, что все разработки обе стороны докладывали на самый верх.

Встречи происходили и у нас, и в Штатах. Складывалась столь необходимая и непросто достигаемая по тем временам человеческая общность. Так, во время проведения очередной встречи в Тбилиси в 1975 году родилась идея пригласить американцев в грузинскую семью. Я предложил пойти на ужин к тете моей жены Надежде Харадзе. Профессор кон-

серватории, в прошлом примадонна Тбилисского оперного театра, она жила, как все настоящие грузинские интеллигенты, довольно скромно, поэтому одолжила у соседей сервиз. В результате весь дом, конечно, знал, что к ней приедет «сам Рокфеллер». Среди гостей были и сенатор Скотт с супругой, и бывший представитель США в ООН Йост, и главный редактор журнала «Тайм» Дановен. Спросили разрешения у Шеварднадзе, который был тогда первым секретарем ЦК компартии Грузии, – в те времена это был далеко не жест вежливости, – и получили его согласие.

Квартира Надежды Харадзе находилась на четвертом этаже, лифта в доме не было, стены подъезда городские власти не успели к нашему приезду побелить и нашли «оригинальный» выход, вывернув электрические лампочки. Мы поднимались во тьме, но подсвет был на каждом этаже – совсем как в итальянских кинокартинах нас ждали одинаковые сцены: открывались двери каждой квартиры и молча нас рассматривало все ее население от мала до велика.

Вечер удался. Прекрасный грузинский стол, пели русские, грузинские и американские песни. Д. Рокфеллер отложил вылет своего самолета и ушел вместе со всеми в три часа утра. Впоследствии он мне много раз говорил, что тот чудесный вечер запомнился ему надолго, хотя вначале явно недооценил искренность хозяев и, может быть, даже считал все очередной «потемкинской деревней». Ведь подошел к портрету Хемингуэя, висевшему на стене над школьным столи-

ком моего племянника, и, отодвинув портрет, убедился, что стена под ним не выцвела, – значит, не повесили к его приходу.

В Тбилиси Рокфеллер вообще пользовался особой популярностью. Тэд Кеннеди, который одновременно с нашей группой был в столице Грузии, жаловался, что стоило ему появиться на улице, как все вокруг кричали: «Привет Рокфеллеру!»

Дэвид Рокфеллер многое сделал для развития отношений между нашими странами. Этот незаурядный и обаятельный человек пригласил нашу группу, в том числе меня с женой, во время одной из поездок в США в свой родовой дом. Непринужденная, теплая обстановка способствовала достижению договоренностей по самым сложным международным вопросам. И в этом отношении удалось немало. Была создана своеобразная «лаборатория» для анализа целого ряда проблем, часть из которых в дальнейшем нашла решение на официальном уровне.

Большой смысл приобрели встречи (с нашей стороны организатор – ИМЭМО) с японским Советом по вопросам безопасности («Анпокен»). В первой половине 1970-х годов по предложению инициатора таких встреч И. Суэцугу мы с Журкиным посетили Токио и договорились о периодичности визитов, составе группы и содержании диалога. Помимо Суэцугу, в нем участвовали с японской стороны профессора Иноки, Саэки и многие другие, пользовавшиеся большим

авторитетом в стране, но, может быть, что важнее – влиятельные фигуры, как и весь «Анпокен» в целом, в правящей либерально-демократической партии.

Вначале такие ежегодные «круглые столы» напоминали скорее разговор глухих. Каждая сторона признавала важность развития отношений между СССР и Японией. Однако наши японские коллеги не переставая твердили, что это невозможно без решения вопроса о «северных территориях», а мы с не меньшим упорством отвечали, что такой проблемы не существует.

Но постепенно лед таял. С каждой встречей все более росло уважение друг к другу Я, например, никогда не забуду того, как Суэцугу, узнав, что я потерял – это было в 1981 году – сына, всю ночь каллиграфически выводил иероглифы древнеяпонского изречения и подарил мне эту запись, смысл которой заключался в необходимости смиренно переносить все невзгоды, думая о Вечном. Конечно, японская мудрость не помогла приглушить страшную боль, вызванную неожиданной смертью двадцатисемилетнего сына от сердечного приступа во время первомайской демонстрации в Москве, но я высоко ценю по сегодняшний день порыв души японского коллеги, который, к сожалению, скончался в 2001 году.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.